



Будущее России: стратегия философского осмысления



РОССИЙСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ И КУЛЬТУРА

В.М. МЕЖУЕВ

Прежде чем что-то сказать о культуре, в которой нуждается российская модернизация, необходимо определиться с самим понятием «модернизация». Под ней часто понимают любое новшество или усовершенствование в сфере техники и хозяйственно-управленческой деятельности. Придумали более совершенную технологию – вот тебе и модернизация. Но в таком случае переход от скотоводства к земледелию на заре человеческой истории также следует считать модернизацией, а все учебники по истории переименовать в учебники по истории модернизации. Можно, конечно, любую техническую и научную инновацию называть модернизацией, но это не совсем то, что понимает под ней социальная наука.

Теория модернизации, как известно, возникла в 50 – 60-е гг. прошлого века в лоне университетской науки США под прямым влиянием работ Т. Парсонса и Р. Мертон. Ее создателями были известные американские специалисты по так называемому третьему миру (С. Липсет, Ф. Ригге, Д. Энгер, Р. Уарт, С. Хантингтон и др.). Посредством данной теории они хотели как-то обозначить происходящие в странах этого мира экономические и политические процессы, взрывающие традиционный порядок и способствующие их переходу к индустриальному и демократическому обществу. Чуть позже теория модернизации была взята на вооружение государственными ведомствами США с целью обоснования их политики в отношении этих стран. Это были преимущественно страны Азии, Африки, отчасти Латинской Америки, но никогда СССР, в отношении которого более уместным считался термин «конвергенция», а не «модернизация».

Все изменилось с распадом СССР, отбросившим Россию в разряд слаборазвитых стран («Верхняя Вольта с ракетами»). Теперь уже, не стеснясь, можно было говорить о ее модернизации. Термин прижился и в среде российских политиков, взявших на себя миссию реформирования России с целью «ее вхождения в современную цивилизацию». В дальнейшем этим термином стали

обозначать все происходившие в русской истории реформационные процессы. В таком истолковании российская модернизация охватывает собой по крайней мере три столетия — начиная с петровских преобразований и вплоть до наших дней.

Как бы то ни было, под модернизацией в науке принято понимать переход от традиционного общества к современному, или от общества домодерна к обществу модерна (или модерни, как его называют на Западе). Следующий переход — от модерна к постмодерну — это уже другая стратегия развития, отличная от модернизации. Ее разрабатывают преимущественно те, кого сегодня называют постмодернистами. Если граница, отделяющая модерн от домодерна, признается практически всеми и не вызывает серьезных разногласий, то граница между модерном и постмодерном либо оспаривается в своем существовании, либо по-разному трактуется. Где же проходит первая граница?

Думаю, не погрешу против истины, если определяю домодерн как общественное состояние, в котором господствует традиция (или обычай), его потому и называют традиционным, а модерн — как господство разума, или *ratio*, как рационализацию всех форм жизненного поведения человека. Хронологически эту границу обычно связывают с переходом от Средневековья к Новому времени, хотя отдаленным провозвестником модерна была уже греко-римская Античность. Традиционное общество — это не просто общество, в котором существует традиция — традиция существует в любом обществе — а общество, в котором традиция, освященная именем мирового бога или племенного божества, господствует над всеми проявлениями жизни, не позволяет выйти за ее пределы.

Традиция существует не сама по себе, не просто как привычка или личная прихоть, а как неизбежный на определенном этапе способ регуляции общественной жизни, получающий, как правило, мифологическую или религиозную легитимацию. Переход от традиционного общества к современному — это одновременно переход от религиозного типа сознания к рациональному, причем не только в теоретической, но и в практической (экономической и политической) жизни. Чтобы осуществить такой переход, Европе потребовалось пройти весь путь от Античности до Нового времени. Россия же, которую по известной констатации ее поэта, *умом не понять*, в которую можно только *верить*, так и не смогла полностью (в общенародном масштабе) выйти за пределы традиционного сознания с его преимущественно религиозным

восприятием жизни. Даже в период гонений на православную Церковь и православную религию со стороны «воинствующих атеистов» присущая русскому сознанию внутренняя религиозность давала знать о себе в своеобразной сакрализации верховной власти, в культе вождей, в придании господствующей идеологии характера чуть ли не религиозного учения, принимаемого исключительно на веру.

Нельзя, конечно, отрицать происшедшего за годы существования советской власти разрушения традиционного для старой России общинного уклада жизни, слома всей традиционной системы поземельных отношений, что стало причиной огромной миграции сельского населения в города и промышленные центры. Но ведь помимо традиционного (преимущественно деревенского) уклада жизни существует и традиционализм мышления, преодолеть который намного сложнее, чем просто разрушить общину. В эти годы крестьянин, переезжая в город, становился не буржуа или гражданином, а тем, кого еще в Древнем Риме называли городским плебсом, требовавшим от власти лишь хлеба и зрелищ. Его социальный статус наемного работника на службе у государства мало чем отличался от образа жизни и способа мышления типичного представителя традиционного общества.

В отличие от традиционного рациональный тип поведения и сознания прямо зависит от способности человека жить в свободе. Человеческая свобода была впервые открыта греками, считавшими себя «свободнорожденными», а затем по-новому осмыслена в христианстве с его учением о свободе воли. Правда, христианство, как и любая другая религия, не освободила человека от власти традиции, хотя и придала ей характер не принудительно навязываемого, а добровольно принимаемого решения. И только после того, как человек осознал себя разумным существом, способным самостоятельно решать проблему своего личного и общественного бытия, полагаясь исключительно на свой, а не на чужой разум богов или предков, можно говорить о наступлении эпохи модерна. Переход к ней потребовал, следовательно, определенных предпосылок не только в экономической, но и в духовной и культурной сферах.

Обычно переход к модерну связывают с формированием так называемого третьего сословия и с выходом на историческую сцену буржуазного класса частных собственников и предпринимателей. При этом не всегда учитывают особую роль в этом переходе тех, кого принято называть интеллектуалами. Европейских

интеллектуалов следует отличать как от мудрецов и пророков Востока, вещавших непосредственно от имени Бога, так и от средневековых богословов и схоластов, бравших на себя функцию интерпретации текстов Священного Писания. Хотя Жак Ле Гофф называет их «средневековыми интеллектуалами», они имеют мало общего с интеллектуалами Нового времени. К ним относятся в первую очередь гуманисты эпохи Возрождения, религиозные реформаторы, просветители. При всех различиях между ними они все вместе подготовили наступление эпохи разума, поставив под вопрос всякую идущую из прошлого традицию, сделав предметом рациональной критики понятия и представления, основанные на авторитете предания или писания.

Собственно, в этом и состояла функция интеллектуала в Новое время, сделавшая возможным переход к модерну. Интеллектуал взрывал любую традицию, не отвергал ее, но делал предметом критической рефлексии. Все, что было основано на иррациональной вере, на суеверии и предрассудке, теряло в его глазах всякую ценность. Отсюда не следует, что интеллектуалы пытались поставить себя на место прежних авторитетов: не себя, а разум, присущий каждому человеческому существу. «Имей мужество доверять собственному разуму!» — так когда-то Кант сформулировал суть Просвещения, а вместе с ним и основное кредо эпохи модерна. Иное дело, что разум у всех людей один. Они могут иметь разный опыт, но мыслят по одним и тем же законам логики. Так думала вся классическая философия. С опровержения данного тезиса — трансцендентального единства разума — и начинается постмодерн.

Современным (или модерном), с этой точки зрения, следует считать все то, что пропущено через разум, имеет характер рационально установленной истины. Быть современным — значит, мыслить и действовать рационально («целерационально», сказал бы Макс Вебер), полагаясь исключительно на доводы разума. Правда, сам разум можно трактовать по-разному. Установить, в чем именно заключается разумность человека, и составляло главную задачу классической философии, которую с полным основанием можно было бы назвать философией разума.

Пока речь шла о природе, ведущая роль разума, как он представлен в науках о природе, не вызывала сомнения. Но можно ли быть столь же разумным в постижении и организации общественной жизни людей — далеко не рациональной в своих основаниях, базирующейся на конфликтующих между собой интересах

и целях. Модернизация, понимаемая как рационализация, не может оставить без ответа вопрос о том, в чем состоит рационализация общества, как она затрагивает его основные социальные институты — от семьи до государства, от экономики и политики до образования и культуры. Модернизация какого-то одного сегмента общества (например, производственно-технологического), не затрагивающего все остальные, порождает уродливый симбиоз традиционализма и рационализма, отличающийся крайней неустойчивостью, нестабильностью, чреватый серьезными социальными взрывами и потрясениями. История дореволюционной и послереволюционной России служит тому достаточно ярким примером.

От наших экономистов можно порой услышать, что российская модернизация предполагает в первую очередь переход к экономике рыночного типа. Ее называют также инновационной, эффективной, социально ориентированной экономикой, но в любом случае видят в ней главную цель нашей модернизации. Можно подумать, что все остальное в России уже существует по критериям самой строгой рациональности. Вызывает, однако, серьезное сомнение, что целью модернизации, даже экономической, является переход к рынку. Рынок, как известно, возник задолго до всякой модернизации, а капитализм стал его естественным продолжением. Это, если угодно, объективный и стихийный процесс, который нельзя декретировать никакими указами. Вообще считать модернизацией переход к капитализму (как до того к социализму и коммунизму) столь же нелепо, как думать, что Античность и Средневековье также возникли в результате кем-то предложенного и сознательно осуществленного модернизационного плана или проекта. Об их существовании люди узнали *post factum*, после того, как эти эпохи уже сошли с исторической сцены.

В отличие от объективных процессов, протекающих, как правило, за спинами людей и осознаваемых задним числом, модернизация означает достижение заранее известной и сознательно планируемой цели. Политическая воля, основанная не на традиции, а на рациональном расчете, играет здесь решающую роль. Неслучайно все попытки модернизации России инициировались сверху. Хотя сама идея модернизации может разделяться и поддерживаться разными группами людей, вкладывающими в нее разное содержание, реальной программой общественного развития и обновления она становится в руках политической элиты, находящейся у власти. Последняя не только инициирует

процесс модернизации, но и ставит ему на службу всю мощь государственной машины.

На эту сторону дела не всегда обращают должное внимание, видя в модернизации нечто вроде естественно протекающего и объективного процесса. В действительности модернизация — это, прежде всего, сознательно осуществляемая властью политика, т.е. нечто весьма искусственное и субъективное. Политика эта продиктована, несомненно, вполне реальными обстоятельствами (например, отсталостью страны), является как бы ответом на объективный вызов истории, но далеко не факт, что, будучи сознательным выбором власти, она содержит в себе адекватный ответ на этот вызов. Здесь и возникает необходимость корректировки модернизационной политики с позиции научной теории модернизации. Наличие такой теории — необходимая предпосылка любой успешной модернизации.

Так, модернизация, понятая как строительство социализма в одной стране, не прижилась на русской почве, дала сбой, приведший к распаду государства. Ее заменили в 90-е гг. прошлого века на либерально-рыночную модель модернизации, заимствованную у западных идеологов экономического монетаризма. Но и она оказалась столь же болезненной, как и предыдущая, породив среди значительной части населения тоску по советскому прошлому. Обе модели — социалистическая и монетаристская — были субъективным выбором власти, не очень считавшейся с тем, какой реально может быть модернизация в условиях России. Понятно, что и навязывались они обществу чисто насильственным путем.

Уже с Петра I принуждение и насилие становятся главным инструментом модернизационной политики власти. По словам В.О. Ключевского, «реформа, как она была исполнена Петром, была... делом беспримерно насильственным и, однако, непроизвольным и необходимым... Уже люди екатерининского времени понимали, что обновление России нельзя было предоставлять тихой работе времени, не подталкиваемой насильственно»¹. Большевицкая модель модернизации также была предельно репрессивной, осуществлялась усилиями тоталитарного государства. Модернизация, осуществляемая насильственным путем, свидетельствует не об ошибочности самой модернизации, а о ложном истолковании ее смысла и целей. Неправильно поставленная цель порождает и сугубо репрессивные методы ее осуществления. Чем же в действительности является модернизация?

Делая модернизацию своей политикой, государство, видимо, не может быть непосредственным исполнителем всего комплекса проблем, касающихся развития страны. Вряд ли от него прямо зависит техническое перевооружение промышленности и сельского хозяйства, замена устаревшей техники более современной, создание новых производственных мощностей и пр. Не чиновники являются двигателем экономического прогресса. Это дело людей, прямо заинтересованных в нем — предпринимателей и бизнесменов. Но чтобы такие люди появились и могли самостоятельно действовать, государство должно освободить их от излишней административной опеки. И уж тем более не заботой государства является формирование класса частных собственников. Оно должно гарантировать каждому *право частной собственности*, но не саму собственность, которую можно приобрести только на рынке, за счет собственного труда. Власть как источник собственности (что отчетливо проявилось у нас в ходе проведенной приватизации) никогда не будет открытой и прозрачной. Сращивание власти и собственности есть наиболее очевидный рецидив старой, архаической системы власти.

Модернизация, проводимая властью, может быть, с этой точки зрения, только одним — *модернизацией самой власти, всей системы государственного управления*. Модернизация, не меняющая идущую из прошлого систему власти, сохраняющая в неизменном виде ее основные параметры, является модернизацией только по видимости. В этом и состоял основной порок всех предшествующих модернизаций — как петровской, так и большевистской. Они могли затронуть все, что угодно, но только не саму власть. Место, занимаемое властью, в любом случае оставалось неприкосновенным: как только волны модернизации доходили до него, все откатывалось назад. Могли меняться правящие элиты, эмблемы и титулы власти, но сам принцип централизованной и единоличной власти оставался неизменным. Это и есть наша традиция.

Модернизацией, способной прервать эту традицию, мог быть только переход к *правовому государству* с его обязательным признанием приоритета права над всеми иными формами государственного управления. Быть рациональным в политике — и значит руководствоваться в ней не личными или корпоративными интересами, а обязательными для всех нормами и принципами права. Не право власти, а власть права на всех уровнях государственной жизни — вот что служит главным вектором политической модернизации, открывающей простор и для всех ее остальных

проявлений, в том числе и в сфере экономики. Формы государственного устройства в современном мире могут располагаться в самом широком диапазоне — от конституционной монархии до президентской или парламентской республики — но в любом случае они должны базироваться на общих для всех принципах конституционного права. Разделение властей, состязательность партий, выборность и сменяемость власти, легальность оппозиции — без этого любая конституция превращается в простую видимость правового документа. И никакая отсылка к исторической «матрице» народа, к его обычаям и традициям не должна служить оправданием отступления от этих принципов. На ум приходит следующее сравнение: живя в России или в Европе, человек, решая математическую задачу, должен придерживаться одних и тех же правил математики: никакой суверенной математики не существует. Сказанное верно и по отношению к государственному устройству общества: при всех возможных различиях оно в своем современном виде должно базироваться на общих для всех принципах права. Никакой суверенности здесь также не существует. «Право — математика свободы» — так называлась книга покойного академика В.С. Нерсисянца, изданная еще в 1996 г. Во всяком случае, право не менее рационально и логично в своем систематическом изложении, чем любая математическая теория.

Но как заставить власть жить в правовом пространстве? Может ли она модернизировать саму себя? Это как раз то, что в России никогда не получалось. И объясняется это отсутствием в обществе развитого правосознания, причем даже среди профессиональных юристов. Наличие юридического образования само по себе еще не гарантирует наличия правосознания. В подтверждение такого мнения сошлюсь на статью выдающегося русского правоведа Б.А. Кистяковского «В защиту права (Интеллигенция и правосознание)», опубликованную более ста лет назад в знаменитом сборнике «Вехи».

Среди многих обвинений в адрес русской интеллигенции, выдвинутых авторами сборника, в этой статье особо выделяется крайне низкий уровень ее правосознания, недооценка и даже принижение ею роли и значения права в культурном обиходе русского человека. «Русская интеллигенция, — писал Кистяковский, — никогда не уважала права, никогда не видела в нем ценности; из всех культурных ценностей право находилось у нее в наибольшем загоне. При таких условиях у нашей интеллигенции не могло создаться и прочного правосознания, напротив, послед-

нее стоит на крайне низком уровне развития»². Подобное отношение к праву, по его мнению, является результатом «отсутствия какого бы то ни было правового порядка в повседневной жизни русского народа»³.

Многие русские умы, включая даже Герцена, не говоря уже о славянофилах и народниках, усматривали в слабости правовых норм и отсутствии правопорядка положительную, а не отрицательную сторону русской жизни, находили в этом известное преимущество русского народа перед народами западноевропейскими. Те заняты устройством внешней жизни, тогда как русские более озабочены жизнью внутренней — религиозной и нравственной. Зачем право, если такая высокая духовность? «Основу прочного правопорядка, — считает Кистяковский, — составляет свобода личности и ее неприкосновенность»⁴. Постоянная озабоченность русской интеллигенции вопросом о том, в чем состоит «идеал личности», ее бесконечные искания «критически мыслящей, сознательной, всесторонне развитой, самосовершенствующейся, этической, религиозной и революционной личности», никогда не включали в себя «идеал правовой личности». «Обе стороны этого идеала — личности, дисциплинированной правом и устойчивым правопорядком, и личности, наделенной всеми правами и свободно пользующейся ими, — чужды сознанию нашей интеллигенции»⁵.

Сказано сто лет назад, но и сегодня призывы к духовности и морали отодвигают на второй план, а то и вовсе упускают из виду важность правовой организации общественной и государственной жизни, вне которой и без которой никакая духовность выжить не может. Разве не о том свидетельствует вся последовавшая после «Вех» русская история? Разве не с этим же мы сталкиваемся и сегодня?

Пренебрежение правом свойственно, разумеется, не только русской интеллигенции, но в равной мере и остальным слоям русского общества, включая тех, кому, казалось бы, по самой их функции предписано стоять на страже закона и правопорядка — государственным и судебским чиновникам. Произвол и беззаконие в системе государственного управления и судебной деятельности — исконная беда России. Интеллигенция несет за это особую ответственность, поскольку, будучи мыслящей частью российского общества, так и не смогла внедрить в его сознание представление о первостепенной значимости права в общественной жизни, ничем не уступающего по своей культурной ценности

религии, морали, искусству и науке. Казалось бы, никто у нас на словах не сомневается в необходимости правопорядка, но в бесконечных рассуждениях о современной России, вопросы права и правосознания, если и затрагиваются, то в самую последнюю очередь. Русская культура, как бы высоко ее ни ставить, так и не смогла выработать противоядия от правового нигилизма, обобщающегося на практике правовым беспределом. А то, что не стало органической частью национальной культуры, не имеет шанса и на превращение в юридически закрепленную норму общественной и государственной жизни.

В чем причина равнодушия нашей культуры (даже в ее лучших образцах) к вопросам правового устройства жизни? Прежде всего, как я думаю, в том, что гражданское общество не стало для нас повседневной реальностью, не втянуло в себя основную массу населения. В категориях права мыслит ведь тот, кто осознает себя гражданином, наделенным неотъемлемыми от его личности человеческими правами и свободами. Много ли у нас сегодня таких? Некрасовское «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» пока так и остается пожеланием: поэтов у нас и сейчас больше, чем граждан. И далеко не все наши поэты, т.е. в широком смысле деятели культуры, осознают себя гражданами, предпочитая строить свои отношения с государством на традиционной основе признания любой власти в обмен на ее высочайшее покровительство. Что уж говорить об остальных. Становление правосознания начинается с признания свободы и достоинства каждого индивида в качестве важнейшей культурной нормы и ценности. Достигается это усилиями не только юристов и правоведов, но и всей интеллектуальной элиты общества — в первую очередь философов, внесших в разработку идеи права возможно, самый значительный вклад.

Главным признаком сохраняющегося традиционализма в общественной жизни является преобладание людей с консервативным мышлением. В России такие люди всегда составляли подавляющее большинство, причем не только среди так называемого простого народа, что вполне естественно для аграрной, крестьянской страны, но и среди политической и культурной элиты. Интеллектуал, стремящийся до всего дойти собственным умом, не очень доверяющий традиции, восстающий против нее — в России не столько правило, сколько исключение. Его судьба по большей части трагична — он либо изгой, либо лишний человек, либо просто чужак — человек не от мира сего (вспомним хотя бы Чаадаева).

Россия — страна очень талантливых людей, тут и спорить не о чем. Но талант у нас не всегда сочетается с умом, хотя в обычной жизни мы склонны отождествлять то и другое. Талант без ума — это опора на чувство, на эмоцию, на то, что подсказано сердцем, но не на строгое и доказательное суждение. Талантом мы восхищаемся, а ум часто недооцениваем. Ум (или интеллект) в России был востребован значительно меньше, чем талант. Недаром лозунгам и хлестким фразам мы доверяем больше, чем аргументам. В наших действиях больше экзальтации и слепой веры, чем трезвого расчета и разумной мысли. Поэтому в роли «властителей дум» у нас и подвизаются обычно писатели, актеры, режиссеры, сейчас — журналисты, но не мыслители и ученые, не интеллектуалы в точном смысле этого слова. Только в России могла появиться комедия «Горе от ума». Отсюда же: «умом Россию не понять», «История города Глупова», «две беды — дороги и дураки» и пр. Редко встречающийся в нашей литературе положительный герой, и тот «идиот». Мы часто говорим о ком-то: «безумно талантлив», полагая, видимо, что талант в уме не нуждается. А ум — это, прежде всего, отказ от слепого следования старине, от бездумного подражания прошлому.

Не отрицание традиции, а критическая рефлексия над ней — вот что характеризует мышление современного человека, способного жить в модерне. Без такой рефлексии нельзя преодолеть тяжесть, инерцию былых времен, увидеть в реальности не только то, что в ней уже устоялось, стало привычным и обыденным, но и то, что требует пересмотра, дальнейшего изменения и преобразования. Если он и придерживается какой-то традиции, то только той, которая идет из эпохи Просвещения, а в своем истоке восходит к античному рационализму. Несомненно, и эта традиция нуждается сегодня в переосмыслении. Отношение к Просвещению с его «проектом модерна» раскололо интеллектуальное сообщество на Западе на два лагеря — на тех, кто стремится в современных условиях продолжить начатую Просвещением линию развития, как бы продлить состояние модерна, и тех, кто справляет «поминки по Просвещению» в поиске новой социальной и мыслительной парадигмы. Последние и составили лагерь постмодернистов.

Не то в России. Мы живем с Западом как бы в разные исторические времена. Если Запад уже давно живет в модерне, то мы до сих пор в него никак попасть не можем. Предпринимаем для этого огромные усилия, но какая-то более мощная сила выталкивает нас из модерна обратно. Уже триста лет мы модернизируемся, но

не можем довести этот процесс до конца. Такое впечатление, что Россия — страна перманентной модернизации, которая временами то вспыхивает, то угасает.

Что же мешает России стать современной страной, войти в модерн? Европе, как известно, потребовалось для этого пройти через три «двери». Первая из них называется Возрождением, вторая — Реформацией, третья — Просвещением. Все вместе заняло примерно лет пятьсот. Мы не прошли ни через одну. У нас не было своего Возрождения, своей Реформации, ну, а Просвещение остановилось где-то на полпути, затронув лишь верхний слой российского общества. Дальше не пошло. Если ранние славянофилы еще как-то пытались сформулировать русский проект модерна, получивший впоследствии название «русской идеи», то, начиная с Данилевского и вплоть до евразийцев, идея «русского модерна» перерастает в идею «антимодерна», отрицающую все европейское. Именно в таком виде эта идея стала оплотом русского консервативного национализма. Сегодня эта или подобная ей идеология все более овладевает массовым сознанием (по социологическим опросам, около 70% россиян не считают себя европейцами) и берется на вооружение частью нашей культурной и политической элиты.

Невосприимчивость к модерну видна даже по нашей литературе, не принявшей ренессансного гуманизма. Бердяев считал, что если у нас и были гуманисты этого типа, то только Пушкин. Остальная литература от Гоголя до Достоевского и Толстого пошла не по пушкинскому пути. Негативное отношение к Возрождению характерно для большинства русских религиозных мыслителей и философов, вплоть до Лосева. Аналогично обстоит дело с Реформацией. Отношение к протестантизму и его этике в русской мысли хорошо известно. Исключение составляют, конечно, русские западники (включая либералов и социал-демократов), но все знают, какова их судьба в России. Сегодня весьма модно ругать тех и других. Критика модерна в России тяготеет не к новому, а к старому — традиционному — миру, находящемуся под властью церковного и государственного авторитета, т.е. православия и самодержавия.

Я не хочу ставить антимодернистский дискурс ни в упрек, ни в заслугу России. История, в конце концов, рассудит, куда он ведет — к победе или поражению. Но ясно, что антимодернизм есть отрицание модерна с несколько иной позиции, чем постмодернизм. Для постмодерниста модерн неприемлем в силу

тяготения последнего к рационализации и унификации жизни, логоцентризму, идеологическому монизму, для антимодерниста — в силу его излишнего антропоцентризма и индивидуализма. Прямо скажем, взаимоисключающие позиции, хотя в своем противостоянии они и вскрывают неспособность модерна сочетать индивидуальное и универсальное, духовное и материальное, многообразие и единство, свободу и порядок. Попытка модерна на путях разума снять эти противоположности оказалась в глазах тех и других несостоятельной. Но если первые на этом основании справляют «поминки по Просвещению», то вторые стремятся предотвратить его роды, так сказать, абортировать его. Не потому ли наша модернизация более напоминает, по выражению Стивена Козна, «демодернизацию», возврат к прошлому с его политической и духовной архаикой.

Любую попытку возродить предшествующие модерну формы сознания — миф, языческие культы, оккультные науки — я и называю антимодерном. Когда повсюду открываются церкви (против чего я, конечно, ничего не имею), но при этом сокращаются и закрываются научные институты, становится ясно, что мы не столько приближаемся к модерну, сколько еще больше погружаемся в домодерн, т.е. в состояние, когда свободная мысль находилась под властью традиционных авторитетов. Не потому ли многие, кто сегодня приветствует такое развитие событий, смахивают более не на современных мыслителей, а на средневековых схоластов с тем лишь отличием от них, что соединяют принятые ими на веру старые и новые мифы с современными информационными технологиями?

Казалось бы, никто из них, за редким исключением, не отрицает необходимости для страны экономической и технической модернизации. Но как это сочетается у них с антимодернистской политической и идеологической риторикой? В отличие от интеллектуалов на Западе, являющихся если не модернистами, то постмодернистами, наши в своем большинстве — антимодернисты, не приемлющие модерн ни в его гуманистической, ни в протестантской, ни в просветительской версиях. В политике они — консерваторы, пытающиеся говорить от имени православного Бога, только им ведомой «народной души» или власти, которая всегда права. Россия для них — предмет не столько теоретического анализа, сколько разного рода пророческих предсказаний и мессианских упований. Пока таким людям принадлежит ведущее место в образовании, культуре, средствах массовой информации,

экспертном сообществе, пока при поддержке власти они задают тон в политических и идеологических дискуссиях, российская модернизация будет тем же, чем и была до сих пор — кружением на одном месте.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. Кн. III. — М., 1993. — С. 125.

² Вехи. Из глубины. — М., 1991. — С. 123.

³ Там же. — С. 126.

⁴ Там же. — С. 128.

⁵ Там же.

Аннотация

В статье обосновывается тезис, что главным препятствием на пути модернизации в России является господствующий в ней тип политической культуры, базирующийся на культе (сакрализации) верховной власти и отсутствии развитого правосознания. В свою очередь это объясняется незавершенностью перехода к современному (рациональному) типу поведения и сознания, характеризующемуся повышенной критической рефлексией по отношению к традиционно сложившейся системе ценностей.

Ключевые слова:

модернизация, культура, правосознание, традиция, рационализм, консерватизм.

Summary

The main thesis is proving by the author in this article is that the barrier impeding the process of Russian modernization is a special type of the political culture dominating in Russian society. This type of the political culture is based on cult (sacral) of the authoritarian power and failing of the legal conscience. The main reason for it is non - accomplishment of transit to the modern (rational) type of social behavior and conscience characterized by critical reflection towards the system of traditional values.

Keywords:

modernization, culture, legal conscience, tradition, rationalism, conservatism.